

Лев РОДНОВ

В КОНЦЕ КОНЦОВ, или ДАЛЬШЕ НЕКУДА

(опубликовано в еженедельнике «КУ» в 1991 г.)

НЕЗАБВЕННОМУ СЛАВИКУ В. ПОСВЯЩАЮ.

Автор.

Что остается от сказки потом, после того, как ее рассказали?

В. Высоцкий.

Почти все сказки начинаются одинаково — со слов «жили-были». Здесь это не подойдет. Начать придется так: **НИ ХЕ-ХЕ СЕБЕ!**

То есть, буквально: себе — ни хе-хе. Что подразумевать под «хе»? Ну, можно подразумевать какой-нибудь многозначительный икс. Кому как вздумается. На любителя. Ворчучело, например, самый древний обитатель железнодорожного барака, ветеран всех трудовых фронтов и войн, подразумевал пол этим «хе» только то, что произносил при виде барачной жизни. Этот язык понимал каждый.

Население состарившейся сказки — ее состарившиеся, попорченные жизнью и побитые несбывшимися надеждами герои, — все они сбились в одну кучку, ослабевшие, погасшие, озлобленные и порочные от того, что «счастливы» в кавычках; хороший сказочный конец остался где-то в прошлом, а явившееся будущее наградило их далеко не тем, что сулило начало.

Итогом жизни для бывших удачливых героев и, незадачливых любимчиков судьбы стал коммунальный барак в районе товарной железнодорожной станции, окруженный копотью, шумом, запахом вечных помоек и надменной неприступностью всевозможных складов и баз по соседству.

Никто не ведал, сколько Ворчучелу было лет, никто, разумеется, не помнил, кем был Ворчучело в начале своей сказки. И Дюймовочка, и Золушка, и Буратино, и Карлсон с Пьеро — все они знали его одинаковым: старым и брюзжащим одно и то же. Между прочим, была кое-какая разница: Ворчучело, хоть и ворчал, но жалел при этом всех, а все остальные, ворча и матерясь, жалели только себя. Больше других любил слушать брюзжащего деда лишь один обитатель барака, малолетний Плаксунчик.

Сказочная жизнь — это всегда в начале. А потом... Если честно, ни одна сказка в мире до конца так и не рассказана. Днем в бараке было пусто, и Ворчучело с удовольствием объяснял мальчику прописные истины.

— Почему?

— Почему, почему. Потому! Сказки рассказывают только до счастливого места. По молодости-то оно, может, и ничего, эти рассказы, а дальше... Дальше с нами жизнь делает, что хочет. Э-э! Если все наши истории до конца

рассказать — одни трагедии останутся. Так-то.

— Почему? — у Плаксунчика были ясные синие глаза, в которых плескалась непорочная доверчивость.

— Почему, почему. Потому! Не осталось в тридевятом нашем царстве ни балов, ни принцев, ни замков... Дескать, мы рождены, чтоб сказку сделать былью, так тогда пели...

— Кто пел?

— Все пели.

— И ты?

— Было. И я пел.

* * *

По барачному коридору, как оглашённый, на всех парах неся орущий Плаксунчик.

— Дядя Буратино! Дядя Буратино! Там... Там!!! Дядя...

Дверь, аккуратно обитая для звуконепроницаемости несколькими старыми ватниками, нехотя приотворилась, из проема возникло одутловатое, с несоответственно длинным тощим носом и колючими недоверчивыми глазками потревоженного алкоголика бордово-синюшное лицо состарившегося, уставшего от передыг жизни, бывшего детского кумира.

— Чего разорался, Полено?

— Дядя Буратино! Там, там!..

— Ну, чего там? Водку бесплатно дают? Дом горит? Ну?! Плаксунчик мигом остыл и захныкал.

— Ладно, не вой. Докладывай обстановку, — Буратино любил уставные выражения, потому что последние два десятка лет перед пенсией верой и правдой служил в вооруженной охране секретного электронного предприятия. Где и спился от избытка дармового гидролизного спирта. — Встань как положено, докладывай.

— Она в туалете, там, на улице... Я случайно в дырочку увидел. Пойдемте, пожалуйста, я покажу. Ой, страшно, как!

— Кто она?

— Дюймовочка! Она там ребеночка своего сродила и в кашках топит. Сама ревет, а его топит: я в дырочку из мужского видел, правда-правда!

— Понял. А меня чего зовешь? Милицию надо звать в таких случаях, это её дело со всякой швалью разбираться. Я-то тут при чем?

— Она ведь убьет его? — в расширившихся глазах Плаксунчика стоял тихий ужас.

— Да уж задохся, наверное, много времени прошло. Пусть... Разберутся, кому надо. А ты, шпион, молчи про это! Понял?

— Понял. Только он не задохся, она ему всё чего-то говорит и от себя оторвать не может. Там кишка такая. Зеленая. И кровь. Она ему шепчет чего-то, а он кричать хочет, она рот ладошкой зажала.

Двупольный универсальный туалет общего пользования, типа «удобства во

дворе», располагался как раз напротив окон каморки Буратино. Старик приоткрыл форточку и прислушался. Плакал, надрывался кто-то.

— Стрелять вас всех гадов мало! — с удовольствием произнес Буратино и нехотя пошел совершать благородный поступок.

Дюймовочку этот костлявый высокий старик с крепкими суставами-сочленениями просто вышвырнул вон. С перекошенным от злобы и боли лицом, махонькая женщина визжала и каталась в истерике по земле. Она успела оторвать пуповину, но ребенок упал вниз на спину и всю ора, дергаясь и погружаясь в зловонную купель с каждой секундой всё глубже. Плаксунчик застыл с открытым ртом, из носа у него обильно текло. Вышвырнув мать-убийцу, Буратино переломился в поясе, наклонившись, сунул длинную костлявую руку туда, куда надо, и вытащил на божий свет еще одного жителя земли. В воздухе благоухало. Креститель матерился.

— На, дура. Задумаешь повторить — лично пойду в свидетели, — Буратино отдал дите матери, подобрал какую-то тряпку и деловито отер руки.

На пороге барака стоял Ворчучело, который успел только к финальной сцене несостоявшейся трагедии. Ворчучело неслышно, ни к кому не обращаясь, причитал:

— Господи! До чего людей довели! Мать своего ребеночка боится, кабы он ее жизнь не своровал... Ах, ты! На себя силы нету жить, не то что на кого-то еще... Беда, Буратино, пошли ко мне, тяпнем по-стариковски.

— Да-а-а... Не успел родиться человек, а уже говна по самые уши нахлебался. Говноед. Хз-ха-ха! — Буратино развеселился.

— Все мы тут... — Ворчучело неопределенно махнул рукой и пошел. Обливаясь слезами, покрывала поцелуями маленькое, извивающееся, грязное тельце Дюймовочка. Странно, никто до последнего момента так и не заметил, что она беременная была.

* * *

Когда-то Иван-дурак был один-одинешенек. Ну совсем один. Ну прямо, как сам Господь Бог. Потом у Ивана появились дети и стали умножать иваново семя со страшной силой. Вместо одного умершего Ивана Иваныча появлялись десять Иван Иванычей. Так Иванов дураков, точнее Иван Иванычей, стало — миллионы. Чтобы не запутаться в несметном одинаковом множестве, Иваны придумали для себя специальные отличительные билеты, в которых был поставлен персональный номер владельца.

У Ивана Иваныча, где Дюймовочка трудилась секретаршей-машинисткой и от прихотей которого забеременела, номер билета был такой: № 14370751. Иван-дурак № 14370751 был начальником базы райпотребсоюза и взял к себе на работу несчастную Дюймовочку из соображений жалости и личной симпатии. По каким-то своим особым каналам Ивану Иванычу сразу же сообщили, что новая секретарша летала замуж в недоразвитую африканскую страну и что с позором была возвращена на родину. Но Иван Иваныч был демократ, он огра-

дил новую сотрудницу от излишнего натиска любопытствующих и не попрекал, и зря не расспрашивал. Именно за это Дюймовочка была благодарна ему и душой, и телом.

* * *

Золушка была самым тихим и безвредным обитателем железнодорожного барака. Она так же, как Буратино и Ворчучело, давно выработала пенсионный стаж, но всё не могла уняться: в двух местах оформилась техничкой и в одном — дворником. Седенькая и миловидная старушка, слегка чокнулась в своем стремлении без усталости стараться. Причем, деньги у нее не держались. Она до сих пор бредила о несбыточно-красивой жизни, всех прощала, любила угощать, умела вкусно готовить, могла утешить в трудную минуту нужным словом, могла погасить ссору между соседями. По воскресеньям Золушка ходила в церковь. Дома в ее комнате, в углу под потолком, висла большая темная икона. Барачники знали, что у старухи есть одна хрустальная туфелька, но не знали, где она ее прячет. Золушка никому не показывала свое сокровище и не любила говорить о прошлом.

В комоде лежали в марлевых мешочках различные сушеные травы, корни, какие-то вовсе непонятные штучки и порошки. Трясущегося, покорного Буратино в дни особенно сильного похмелья она со скорбным молчанием пила травяными отварами. В комнатке у Золушки было совсем бедно. Бедно, но чисто. На стене висел прямоугольник зеркала без оправы, просто кусок зеркального стекла, купленный как-то по случаю в магазине некондиционных товаров по дешевке. Впрок Золушка ничего не покупала — очень непрактичная привычка.

* * *

Плаксунчик сбежал из детдома. Подобно тому, как больную собаку чутье безошибочно ведет к целебной травке, обостренное чутье бесхозной и безродственной детской души Плаксунчика привело его к ласковому теплу золушкиного угла, где он впервые ощутил самую невероятную роскошь человеческой жизни — участие и безотчетное милосердие. Плаксунчик не знал о себе ничего. Золушка знала о нем всё. Она однажды закрыла глаза и представила: дочь мачехи, той самой, что навяливалась королю в невестки, вышла, в конце концов, за усатого лейб-гвардии поручика, от которого и родила троих; средняя дочь на излете своих лет попала-таки под всеобщую мобилизацию, забеременела на фронте и родила в антисанитарных условиях тоже девочку, но воспитывать сама не стала, а сразу отдала живую помеху на попечение государству; государственная девочка выросла на казенных харчах злой и ожесточенной, по достижении совершеннолетия она уехала добровольно на далекую комсомольско-молодежную стройку века, где в результате полевой экспресс-любви произвела на

свет следующее детдомовское пополнение — Плаксунчика. Плаксунчик достиг под крышей детдома возраста, когда просыпается душа, и понял, что лучше бы она не просыпалась совсем. Но тут природа памяти потянула внутри Плаксунчика за какую-то спасительную ниточку, и он понял: надо спастись. Слабому спастись в борьбе невозможно, значит, надо попробовать спастись бегством. Так и поступил.

* * *

Когда мы говорим: «Круг замкнулся», — что мы имеем в виду? Безвыходность? Безысходность? Ну, это, скорее, для самых слабаков. Для сильных натур констатация факта замкнутого жизненного круга есть радостное событие: смысл жизни на прежнем горизонте существования полностью исчерпал себя, и единственный смысл существовать дальше — подняться на новый горизонт, чтобы обрести новый смысл. До следующего произнесения: «Круг замкнулся». Эти предварительные размышления необходимы для того, чтобы понять ту глубочайшую общность, которую нашли друг в друге Карлсон и Пьеро. О занятиях Карлсона можно было только догадываться, он часто бывал в отъезде, всегда был чист и аккуратен, чрезвычайно вежлив, даже более того — слащаво льстив. Но не угодлив. Пьеро недавно освобожден из длительного заключения за повторную попытку изнасилования и убийства некогда знаменитой актрисы Мальвины. Пьеро, казалось, окончательно исправился в тюрьме: он стал убежденным гомосексуалистом. На жительство в барак его устроил Карлсон, вероятно, имевший кое-какие связи. Карлсон и Пьеро не просто дружили душа в душу: круг обычной жизни для них давно и безнадежно замкнулся, они обрели интерес на другом горизонте — это были не просто друзья, это были нежные любовники, трогательно привязанные друг к другу в море недостойной мирской суеты.

Друзья жили в смежных комнатах. Они напрочь замуровали свои две двери, ведущие в общий коридор, зато прорубили две новые двери: одну между смежными комнатами, чтобы можно было беспрепятственно общаться в любое время суток, другую, отдельную — независимый выход на улицу — из квартиры Пьеро, правда, для этого пришлось пожертвовать окном.

* * *

Только сильные северные птицы могут селиться и выживать на голых скалах. Только неисчерпаемая сила бесконечного одиночества смогла произвести «естественный отбор» среди обитателей железнодорожного барака. Здесь не смогла прижиться ни одна семья. Семейные отсутствовали. Дюймовочка — не в счет.

* * *

Ворчучело с детства пристрастился к махорке, поэтому презирал всех, кто тянул никотин через мундштук или через синтетический фильтр. В коридоре барака и на общей кухне всегда смрадно пахло махорочным перегаром. С этим явлением воевал Буратино, который не курил никогда, но имел особый старческий пук — тихий и чрезвычайно ядовитый. Стоило ему встретиться с Ворчучелом, смолящим махорку, как Буратино немедленно фунил, после чего запах махры казался детской шалостью и розовым ароматом. Старики яростно тянулись друг к другу по причине практического приложения вредительских сил и соревновательного юмора. Ворчучело часто назидательно говорил: «Человек, взбднувший в приличном обществе, экологически абсолютен!» — и торжественно смотрел на пьяницу Буратино. Буратино понимал, что издевка глубока, но ответить так же умно не умел, поэтому терпеливо и надменно молчал. Вслух на результаты оригинального соперничества стариков реагировала только невоздержанная Дюймовочка: «Пошли вон! У себя в комнате воняйте! — у Дюймовочки были маленькие, но весьма болезненные при ближайшем знакомстве кулачки. — Ополоумели совсем уж! У меня молочко вот-вот пропадет! Ребенок задыхается».

Сама Дюймовочка курила в комнате импортные сигареты, пуская в пространство витиеватые задумчивые клубы, машинально подкладывая жадного малыша к тощей груди. Малыш с рычанием искал, где бы поесть досыта.

Иван Иваныч, испугавшись нежелательной огласки, уволил Дюймовочку с работы в обход всех законов. Дюймовочка побежала к адвокату, но там тоже сидел Иван Иваныч, только с другим членским номером. Она обежала еще с десяток мест, но всюду сидели Иван Иванычи, улыбались, сочувствовали, даже искренне возмущались, но, созвонившись между собой, неизбежно разводили руками, вздыхали и прощались. Дюймовочка поняла, что находится внутри невидимого кольца, сквозь которое ей не прорваться никогда. Она осталась в мире одна-одинешенька, практически без средств к существованию. Ненависть и злоба Дюймовочки, которые до этого были равномерно распределены между различными правовыми и государственными инстанциями, а также между соседями и знакомыми, вся эта ненависть теперь целиком обрушилась на без вины виноватого — своего нежеланного ребенка Дюймовочка возненавидела лютее лютого.

Любопытно, что такая важная категория жизни, как время, текло для каждого участника барачной жизни совершенно по-своему. Например, время жизни, возраст, если хотите, того же Ворчучело никак не совпадал с возрастом Буратино или Дюймовочки. Ворчучело был где-то ближе к Золушке, но и это условно. Времени Ворчучело не понимал. В сказочных завязках они все участвовали молодыми или почти молодыми. Но потом что-то произошло. Завязка вроде бы была, даже кульминация жизненного действия у многих была, а вот с развязкой — не получилось... Как умирать, если нет развязки? Нельзя умирать! Дюймовочка, та, дура, вообще не состарилась, хотя и гуляла будь здоров. Карлсон и Пьеро остановились по внешнему виду где-то на перевале едва-едва за средний возраст и тоже застопорились на этом образе, как йоги. Говорят, йог поживет-поживет, поглядит в зеркало и скажет сам себе: «Вот в таком виде и хочу быть дальше». И будет. Возможно, что понятие времени — чистый фантом,

которым люди дурачат себя и других до полного старения и трагедии. А кто об этом знает? Никто.

* * *

Гомики были тонкими натурами, в их совместном жилище частенько раздавалась божественная музыка Чайковского. Пара пятидесятиваттных колонок, врубленных на полную мощность, превращали божественные звуки музыкального гения в сущий ад. Для соседей, конечно. Сами друзья балдели: чем громче, тем балдее.

* * *

Золушка организовала кампанию по сбору подписей под коллективным письмом к самому главному Иван Иванычу области. Суть просительного письма заключалась в следующем: жители железнодорожного барака убедительно, мол, просят рассмотреть их вопрос на ближайшем заседании Иван Иванычей, так как здание признано аварийным, и жить в нем дальше опасно и антисанитарно. Среди жителей имеются заслуженные люди, ветераны войны и труда, а также мать-одиночка из неимущих слоев, а также прочие просители... Число, подписи, штамп уличкома тов. Иванушкина.

* * *

— Ну как вы не понимаете! Мы просто обязаны забрать мальчика обратно! — представительница администрации детского дома давила на Золушку правами и официальным авторитетом.

— Я уже привыкла к мальчику, Василиса Ивановна, и он, кажется, ко мне привык. Его тут все любят, никто не обижает... — Золушка, потупившись, сидела под иконой и теребила нервными пальцами подол фартука. — Я, конечно, уже пожилая женщина, но я еще работаю, и на жизнь нам хватает. Я ведь могу усыновить Плаксунчика, правда? Ведь это же не запрещено законом? Он, я думаю, согласится.

— Еще чего, усыновить! У вас же, извините, песок из одного места сыплется. Усыновить! Надеетесь, что барак попадет под снос и на двоих дадут квартиру побольше? Я вас, хитрованов, насквозь вижу! Ну, народ! Никто его тут не обижает! Скажите, пожалуйста! А то, что живете вы тут в клоаке какой-то, об этом вы подумали? Нет? Ради своей корысти вы готовы погубить детство, стыдитесь! Мальчишка наивен, доверчив, всё они в этом возрасте романтики! Себя вспомните.

— Да, да...

— Конечно. Ну, что вы ему здесь сможете дать, в этой трущобе, где собралась всякая мразь, что?!

— Я отдам ему себя, — Золушка подняла на пришелицу влажные старушечьи глаза, и Василиса Ивановна вдруг почувствовала, что уйти нужно немедленно, что нужно бросить все доводы и уйти, что если она не уйдет, то сойдет с

ума.

* * *

Долгое время Дюймовочка самым наплевательским образом не регистрировала новорожденного. То есть, у него не было в этом мире ничего. Молоко у Дюймовочки в тощих грудях быстро кончилось, малыша надо было прикармливать смесями и специальным кефиром, а это — хлопоты и забота. Хлопоты злобной мамаше были очень противны. И она бросила ребенка на произвол судьбы во второй раз. Но, как говорится, прихотливы и неповторимы извивы человеческой судьбы.

Как-то после долгого и мучительного запора ребенок обделался особенно сильно. Обделавшись, он закричал в несколько раз громче божественной музыки Чайковского, чем окончательно вывел мамашу-психопатку из подконтрольного состояния.

— Жрешь да гадишь только! Надавыш! Нечем мне тебя кормить, нечем, всё уже сожрал! На, дерьмо свое жри! — подобно тому, как рачительная хозяйка тычет безмозглому, гадливого котенка в его произведение, Дюймовочка ткнула мальчика в отходы.

Мальчик тут же затих и проворно зачавкал, насыщаясь самостоятельно, очевидно, довольный объемом предложенного.

— Говноед! — ахнула, опомнившись, не то в восхищении, не то в ошеломлении Дюймовочка. Сбылись слова крестителя Буратино.

И завертелась сказочка. Сердобольная Золушка, узнав о несчастье, о том, что стресс во время родов, очевидно, повредил психику малыша, вызвалась было исполнять роль няньки, но трехмесячный малыш, который рос воистину не по дням, а по часам, отчетливо произнес басом:

— Катись отседа, карга старая!

Золушка не обиделась, но услуг больше не предлагала. Только вздыхала и судорожно сдерживала тошноту. На свое законное имя, Ванечка, Говноед не откликался. В свои полгода он выглядел ровесником Плаксунчика. Дюймовочка пыталась выгнать чудище из дома, но акселерат пригрозил: «Усохни, замочу». И Дюймовочка усохла.

Плаксунчика учили и опекали все, кому не лень, Говноеда не учил и не опекал никто. Разница в воспитательных подходах имела свои последствия.

* * *

Буратино и Ворчучело пили брагу.

— Ты хотел бы начать свою сказку заново? — спросил Буратино.

— Я, дорогой, каждый день ее заново начинаю...

— Нет, не в философском смысле, а вообще?

— Вообще? Вообще я бы всю сказку свою прокрутил задом наперед, ну, как кинолентку, если неправильно ее поставить.

— Зачем?

— Глупый ты, Буратино. До седых волос дожил, а всё такой же глупый. Ко-

гда мы свое кино вперед крутим, то чаще всего плачем, а если его назад покрутить, да еще ускоренно — умора будет, животик надорвешь от хохота. Понял?

— Понял. Мы не в ту сторону живем.

— Правильно, умница. Давай еще выпьем.

И они выпили еще. И еще выпили.

* * *

Жизнь текла своим чередом. Точнее, было ощущение, что она течет где-то. И в этой текущей где-то жизни происходили разные мелкие события.

Пришел официальный ответ из верховного собрания Иван Иванычей, в котором говорилось о том, что невозможно в данный момент изыскать в распределении жилищного фонда резервы... И так далее.

Говноеда поставили на учет в детской комнате милиции по заявлению уличкома Иванушкина. Основанием послужил тот факт, что уличком Иванушкин был избит в момент любовного посещения им матери подростка.

Пьеро пытался изнасиловать Плаксунчика, заманив пацана к себе обещанием подарить электроконструктор «Сделай сам». Плаксунчик после нападения хотел убежать из барака, но Буратино влил в него полкружки браги и передал Золушке для окончательного успокоения.

Жизнь текла своим чередом... В этой тихой фразе заключена великая сила: всякий, знающий черед жизни, запросто становится пророком. Относительно дальнейшего барачного существования ни у кого не возникало даже тени вопроса; все были в этом бытовом масштабе стопроцентными пророками: барак был, барак есть, барак будет. И нечего больше об этом думать, голову ломать. Надо думать о жизни, чтобы она текла своим чередом... А то что? А ничего. Вдруг черед нарушится?

* * *

— Спасибо, милый! — сказал Карлсон Пьеро. — Когда ты со мной, я снова начинаю летать.

— Хочешь музыку?

— Спасибо, мил...

Слова поблекли. В уши, как две шпаги, вонзились рыдающие крики скрипки.

* * *

— Дядя Буратино, расскажи интересное.

— Для тебя, Плаксунчик, я могу рассказывать день ночь. У нас на заводе два мужика как-то вечером в цехе выпили спецполитуру. Ну выпили и выпили, домой спокойно мимо вахты прошли, всё нормально. А к ночи один помер, а другого откачали. Только лучше бы и не откачивали. Почернел мужик от политуры, начисто, как негр, почернел, даже губы наизнанку вывернулись. Потом спецы рассказывали: у него за одну ночь пигмент изменился.

— Какой пигмент?

— А это штука такая в коже имеется. Когда эта штука была белого цвета, мужика звали Васькой, а когда почернел — стали звать Негрой.

— А-а... У нас в детдоме краску ели, но ничего не случилось.

— Крепость не та, — справедливо рассудил Буратино.

* * *

— Будешь говорить?

— Не буду.

— Будешь?

— Не буду!

— Нет, будешь! Говори, где твоя карга туфельку прячет?

— Не знаю!

— Знаешь, сука!

— На! На тебе ещё! А теперь в глаз!

— Не надо! Не надо, пожалуйста! За иконой... — Говноед отпустил Плаксунчика.

* * *

— Терпи, не начинай своей сказки до тех пор, пока не поймешь, что можно начинать наверняка, — поучал Плаксунчика мудрый Ворчучело.

— Бабусю не обижай, — поднимал кривой суковатый палец дядя Буратино. — Обидишь — в порошок сотру. Она мне займы деньги дает.

— Присоединяйся к нам, мальчик, и ты не пожалеешь. Мы не деремса, никого не трогаем, мы культурные, и у нас есть музыка. Хочешь ее почувствовать? Нам смешно, что когда-то мы были другими... Мальчик! Настоящая любовь — это когда весь свет мира принадлежит двоим, а всё остальное — тьма, — говорили свои непонятные речи гомики.

— Я завела на твое имя сберкнижку, дорастешь до совершеннолетия — получишь. И завещание на тебя. Икону и хрустальную туфельку не продавай. Нельзя! — ворковала перед сном Золушка.

И с другой стороны:

— Таких, как ты, я бы хлопал у стенки, не задумываясь, — сообщал мимоходом Буратино ершистому Говноеду.

— За что мне это всё, за что?! — раскаивалась Дюймовочка в результатах своей жизни, дрожа от страха быть заложницей у собственного сыночка.

— Гнилое дерево — гнилые плоды, — аллегорически изъяснялся Ворчучело.

* * *

Говноеда воротило от всего культурного. Чайковского он ненавидел.

— Ты почему дерьмо жрешь? — не выдержал, припер его как-то Ворчучело, который был уже так стар, что не боялся ни смерти, ни тем более — шпаны.

— А что, по-твоему, я должен жрать? Ананасы?

И Ворчучело умолк, потому что настоящие, свежие ананасы он пробовал сам единственный раз в жизни много лет назад, на свадьбе у генерала королевской рати. «А, собственно, не так уж и отличается пища на нашей коммунальной кухне от...», — грустно подумал Ворчучело.

— Будешь вонять — замочу, — пообещал на прощанье Говноед. Договаривающиеся стороны поняли друг друга полностью.

В жизни всюду справедлив принцип поршня: если в одном месте как следует надавить, то в другом обязательно что-нибудь вылезет. Например, если давить на человека разными страданиями и невзгодами, то у него есть только два пути дальше: либо быть раздавленным, либо удержаться, устоять. Но тогда непременно «что-нибудь вылезет». В самом примитивном случае — жалость к себе, в самом высоком — мысли о вечном. А о вечном думать нельзя безнаказанно, как нельзя неумеючи пройти босыми пятками по раскаленным углям. Тут уметь надо, не от простого хотения или ремесла уметь — от судьбы неминуемой!

С Плаксунчиком случилось вдруг, спонтанно, не то роковое счастье, не то нечто противоположное. Если Говноед от употребления, так сказать, подножного корма рос физически не по дням, а по часам, то Плаксунчик от употребления дерьма нравственного, которого тоже в избытке было в железнодорожном барраке, начал не по дням, а по часам умирать. Возможно, так было угодно случаю, возможно, действительно — судьба.

Жизнь надувала на Плаксунчика безотцовщиной, казенностью детдома, обидными подачками и незаслуженным мордобоем, но в то же время Золушка открыла в мальчишке одну замечательную вещь — душу. Вот через это-то отверствие и хлынул наружу странный ум, подгоняемый чувствами. Плаксунчик почти мгновенно поумнел: от вопрошающей болтовни до умения «молчать со смыслом». Голова его наполнилась копошащимися мыслями, идеями, намеками и притчами.

Золушка пела. Золушка гордилась. У Золушки начала пропадать седина.

— Эй, Плаксунчик, сморозь-ка чего-нибудь умное, а то мозги от музыки застоялись, — просил, например, Карлсон мимоходом, брезгливо перенося через лужи во дворе свое толстое, нежное тело.

— Пожалуйста, дядя Карлсон. Десятки тысяч лет человечество выпускало джина своей цивилизации наружу — выманивало, похищало его тайны, выковыривало по частям, из заповедья, проливало кровь и возносило фимиам. Какие усилия, какие жертвы! И вот джин выпущен: виват! виктория! Как бы не так! Джин, освободившись, сам захотел сожрать освободителя. И он его сожрет, потому что цивилизация давно ослабла, загнила, протухла и разложилась, и не в состоянии сопротивляться. Выпустили! А кто теперь обратно загонять будет?!

Карлсон прищурился, до него дошло, что Плаксунчик, этот недоросль, покушается на несравненную интеллектуальную единственность его, Карлсона.

— Дурак, ты, Плаксунчик. Знаешь, почему? Потому, что настоящий ум — это о сложных вещах говорить, как о картошке. Я и сам давно понял: мы неизбежно погибнем от говноедов, они нас сметут, съедят и не подавятся, заодно со всем остальным. Говноеду наплевать, что я — утонченная натура, что я вобрал в себя массу культуры и способен ее нести... М-да... Культура цивилизации не-

избежно порождает говноедов: культура становится всё более труднодоступной, элитарной, от нее проще отмахнуться, чем постичь. Говноед не способен питаться культурой, ему нужна масса, просто масса. Любая!

— Дядя Карлсон, почему вы никого не любите?

— Как это не люблю?! Я Пьеро люблю. И тебя могу полюбить. Хочешь?

* * *

Неожиданно на двух машинах подкатила целая комиссия Иван Иванычей.

— Ну, показывайте свои норы!

Жильцы всполошились. Дюймовочка заискивала и лебезила:

— У нас жилплощадь на двоих! Видите, совсем повернуться негде. Сына я прописать даже не успела, уж простите. Так быстро вырос, так быстро! Уж простите. Тесно живем, зимой совсем замерзаем.

Комнату Буратино пришлось оставить без замеров, потому что он, увидев чужие лица, страшно закричал и стал исполнять служебный долг вохра — был в глубоком бражном подпитии:

— Почему посторонние на территории? Как фамилия?

Испуганный Плаксунчик, думая, что дяди и тети приехали арестовывать его для возвращения в детдом, спрятался на чердаке — на «подложке», как говорил об этой части барака древний Ворчучело, — в пыли и паутине. Плаксунчик забился в самый дальний угол, под доски, ободрал кожу о торчащие тут и там острые ржавые гвозди, почти не дышал и по-мертвому не шевелился до самого отъезда официальных представителей. А выкарабкиваясь из своего убежища, Плаксунчик нечаянно въехал рукой в какой-то ящик, доверху забитый старой золой. Рука провалилась сквозь рыхлость и больно ударилась обо что-то очень твердое, но еще не дно. Плаксунчик инстинктивно зацепил это что-то и вытащил наверх. От удивления он открыл рот: из золы досталась... хрустальная туфелька.

* * *

— Бабушка, вот вторая, — Плаксунчик протянул находку. Золушка повертела хрустальную безделицу в руках, тяжело вздохнула и сунула туфельку на место — за икону.

— Вот и хорошо, что нашлась, — сказала она просто. — Иди, ведро с мусором вынеси, полное уж. Что-то мне худо сегодня.

* * *

Барак сотрясала музыка Чайковского. Карлсон и Пьеро опять любили друг друга. Они, конечно, знали, что любовь — это самая лучшая и самая большая музыка. Но и диалектичность дает выбор: либо ты имеешь свою внутреннюю музыку и слушаешь ее, либо надо включить пятидесятиваттные колонки, чтобы услышать глас гармонии снаружи. Внутреннюю музыку сможет услышать такой же влюбленный, настроенный абсолютно точно на твою волну —

этот канал интимен и индивидуален. Остальные способы — для общего пользования: хочешь-не хочешь, а пользуйся.

— Убью! — прорычал проснувшийся Буратино и выскочил в коридор убивать гомосексуалистов.

— Держи! — горячо дыхнул в ухо Говноед и вложил в крепкую жилистую руку старика длинный кухонный нож.

Пострадал Пьеро.

* * *

Вновь приезжала Василиса Ивановна в сопровождении двух дюжих физруков. Забрали Плаксунчика.

— Ничего не бойся, — обняла его Золушка и загадочно улыбнулась.

— Я знаю, — сказал Плаксунчик уверенно и тихо.

— Вы случайно не в курсе, кто мой папаша? — подрулил к Василисе Ивановне нагло скалящийся Говноед. Он курил краденую махорку.

— Чем это от вас разит? Фу! Такой еще молодой... — она зацокала каблучками прочь.

Тем же вечером Говноед проник в комнату к Буратино и спер двадцатилитровую бутылку с поспевшей розовато-белесой брагой. Дюймовочка приняла внутрь четыре стакана и захотела спать. Говноед принял девять стаканов и захотел общения.

— Мать, последний раз тебя спрашиваю, где ты меня наблядовала?

Впервые в жизни Дюймовочка плакала не от жалости к себе, а от постижения чего-то большего, чем самосожаление, — от какой-то неизъяснимой, общечеловеческой скорби: Дюймовочка воочию убедилась, что она жила не в ту сторону.

* * *

На имя Буратино из детского дома пришло письмо, но прочитать его было некому, так как Буратино находился под следствием и сидел в изоляторе. Письмо было от Плаксунчика. На двух маленьких листочках твердым недетским почерком было выведено: «Традиция человеческой идеи любви воспитана на понятии сектора — на понятии направления. А именно: любить можно от того-то к тому-то, снизу-вверх, например, по восходящей — от ничтожества к Богу, так сказать. В обратном направлении любить нельзя, можно только снисходить. А снисхождение есть форма утверждения возвышающегося самолюбия. То есть, если снисхождение принимать за любовь, то оно, конечно, возможно и вероятно; иными словами, смысл «ждать» есть всегда. Чего ждать? Ну, такое ожидание — сверху-вниз — называется человеческой надеждой и воспринимается в стереотипном сознании как благодатная категория, с чем я не согласен. Потому что, в силу вышеупомянутых рассуждений, надежда является полным обманом. Постулирую: при организации потока любви от меньшего к большему существование надежды невозможно принципиально. Пост скриптур. Дядя Буратино, изви-

ните, если не всё понятно изложил. Спросите у Ворчучело. Я думал о любви специально для вас. Вы хороший, хоть и алкоголик. До свидания, я всё равно убегу!»

Письмо провалялось под дверью, его бы затоптали, но сердце-вещун подсказало Золушке подобрать конверт. Перекрестившись, она вскрыла его и прочитала. Ничего не поняла, кроме того, что Плаксунчик один болеет за всех. За разъяснением пришлось обратиться к умному человеку, Карлсону.

— На Бога надейся, а сам не плошай, знаешь такое? — спросил толстячок.

— Кто не знает, — согласилась Золушка.

— Это эталонный вариант. Плаксунчик пишет о другом: на Иван Иванныча надейся — сам погибай. Это практический вариант.

— Спасибо, поняла! — обрадовалась Золушка, которая всё больше втайне тешилась, мол, вырастет Плаксунчик и сразится насмерть с многоголовым Иван Иваннычем и победит его.

* * *

Буратино отпустили до суда под расписку о невыезде. Пить на мировую Пьеро отказался. Он не злился на Буратино за недавнее покушение, он презирал его в числе прочих непосвященных в поэтические материи. Он презирал Буратино за всё: за психопатство, за алкоголизм, за кондовость и нетонкость... Возможно, эти двое были антиподами. Потому что Буратино запросто отзывался, хоть и мог наломать дров, на просьбы ближнего, а Пьеро предпочитал отзываться на предложения.

* * *

Ворчучело ворчал.

— Человек — это пустая бочка: что в нее гукнешь, такое эхо и будет гулять. У-у-у! Прямо вся глубина природы чувствуется. Может, и глубина, только пустая... Человек — это пустышка, большая такая пустышка, не сразу и разберешься, что к чему. Можно попробовать наполнить бочку. Только что толку? Бочка-то без дна. Нету у нее дна, жадность дно давно проела. Теперь без разницы, что туда гукать — всё примет: у-у-у!!!

* * *

Под окном у Золушки росла рябина-раскоряка. Вечерами на рябину забирался Говноед и смотрел в комнату сквозь жиденькие шторы.

* * *

Буратино сник. Хотя Дюймовочка вернула в целостности и сохранности бражную бутылку, пустую и помытую. Буратино как-то нехотя поставил новую порцию браги и стал ждать, вяло соображая, что поспеет раньше: суд или брага? Брага поспела раньше. Несколько раз приходил-появлялся участковый мили-

ционер с уличкомом Иванушкиным. Сочувствовали. Письмо Плаксунчика Буратино оформил в рамку и повесил на стену. Иногда Буратино стал заговариваться:

— Если не по Сеньке шапка — ничего не поделаешь... А если Сенька не по шапке? Надо эмигрировать...

На общей кухне варилось и парилось.

— Самое дорогое, что есть у человека — это его жизнь, — изрек сентенцию печальный Буратино.

— Ну, так... — для поддержания разговора подтвердил Ворчучело.

— Вот! Вот! Конечно, самое дорогое — это жизнь, никаких денег на нее не хватит! — огрызнулась Дюймовочка.

Вмешался Карлсон:

— Не спорьте. Если вам не нравится тот факт, что самое дорогое у человека — это жизнь, надо просто сменить систему ценностей.

— Как это? — заинтересовалась Дюймовочка в надежде на выгодный совет.

Карлсон выдержал паузу, глядя на Дюймовочку со снисходительной многозначительностью. Как умный человек Карлсон тоже владел этим летучим искусством — молчать со смыслом. Наконец, он произнес:

— Ну, считать, скажем, что самое дорогое у человека — это глупость.

Дюймовочка побледнела.

— Тьфу на тебя! — попытался разрядить обстановку Ворчучело. — Что за шутки?

— Какие уж тут шутки... Стрелять всех надо! Это единственный способ обрести счастье, равенство и братство всем сразу, — бубнил себе под длинный нос Буратино.

Золушка повернула регулятор громкости абонентского громкоговорителя на столе на самый максимум. По радио передавали новости. Диктор бодро сообщал: «...илась олимпиада среди юных философов нашей страны. Победителем стал воспитанник детского дома Плаксунчик из города...» Золушка выронила из рук мисочку с борщом, убежала к себе в комнату и закрылась изнутри. На следующий день она впервые в жизни не пошла на работу. И на следующий. И на следующий тоже!!! Она не бастовала, нет, просто она, святая душа, забыла о том, что для поддержания «самого дорогого» в себе надо обязательно быть техничкой или дворником.

* * *

В качестве небольшого отступления.

Людам только кажется, что они разговаривают. На самом деле они даже не знают, что это такое — разговор. Настоящий разговор! Потому что любой человеческий диалог есть форма двух взаимодействующих монологов. Каждый отдельный человек — это почти всегда монолог, хотящий только говорить и не хотящий слушать. То, что собеседник по наивности принимает за слушание, за паузу, в которую торопится втолкнуть свой собственный монолог — это всего лишь время на вдох. Выдыхаешь — говоришь, вдыхаешь — молчишь:

вдох-выдох, вдох-выдох... Если собеседник попадает в такт — вам обоим интересно, а если в такт не попадает, вам двоим, точнее, двум вашим персональным монологам просто воздуха не хватает. Хитрая механика. Длинный-предлинный такой монолог. Длиной примерно в жизнь.

Человек всю жизнь старается самого себя изречь — при помощи языка или при помощи дел, неважно. Главное — изречь. Но изречь надо куда-то, нужна опора. Эта опора — монолог ближнего. Парадокс! Два монолога, взаимодействуя, опираются друг на друга, и получается уже не пустота, а что-то вроде хромосомы в пустоте — такая перевернутая веревочка, на которой закодировано черт-те что. А это уже, действительно, живое. Может, вредное, а может, и нет. Оно просто живое, и оценочные категории «вредное-полезное» ему до лампочки. Жить лучше всего, когда просто живешь, а не гоняешься за жизнью. Причем, что интересно: слабенький монолог-жизнь может запросто прислониться к более сильному. Они переплетутся, и слабый обретет силу большего. Теперь слабый может изречь себя от имени общей хромосомы. В этом секрет роста: вроде бы просто болтаем, пьем портвейн, ругаемся, клянемся, чадим на кухнях, а на самом деле — непрерывно растем.

Плаксунчик прислонился к чему-то такому, что стал изречь себя от имени страшно произнести кого! У него получилась общая хромосома с холодной вечностью. К ней-то и прислонилась, в свою очередь, Золушка.

* * *

Ворчучело пророчил:

— Каждому воздается!

Но пророки для того и существуют, чтобы им не верили.

Золушка и Буратино ездили в детдом навестить Плаксунчика.

— Чем больше израсходовано слов, тем меньшее пространство они описывают, — тараторил Плаксунчик, а Буратино слушал, склонив голову, поток звуков, но не их смысл. Плаксунчик не замечал, увлекшись. Мысли в его кипящей голове носились, как пчелы в разгар роения, так что если встать поблизости — ужалют... — Дядя Буратино вот, например, сказал: «Пустыня», — и сразу за этим обозначением встает нечто многообразное и великое. Правильно? Правильно. А теперь ты говоришь: «Пустыня, а в пустыне оазис». Территория меньше, а слов больше! А теперь еще подробнее: «Пустыня, а в пустыне оазис, в оазисе колодец, в колодце вода, на воде пылинка». И так далее. Всё зависит от точки отсчета: если точка отсчета «пустыня» — это и есть начало Вселенной, если точка отсчета «пылинка» — начало Вселенной здесь... Понятно? Всегда и всего одно слово! Ну, правда, понятно ведь, дядя Буратино? Всегда достаточно только одного слова, всё остальное — детализация.

— Сынок... — сказала Золушка и стала толкать в руки Плаксунчику пакет с домашними пирожками. Потом она перекрестила мальчика и трижды поцеловала в губы. Плаксунчик от смущения вспотел.

— Можно всё наоборот! — неожиданно произнес Буратино, деревянный лоб которого натужился мыслительными морщинами. Плаксунчик сразу оправился от смущения и оживился.

— Конечно, можно! Это проверка такая: рассуждаешь, рассуждаешь, пока не дойдешь до точки, а как дошел — рассуждай обратно.

— Так-так!

— Если рассуждается туда и обратно — это философия, а если рассуждается только в одну сторону — это просто объяснение, то есть способ успокоиться, завалившись на один бок.

* * *

— Опять кино, — сказал Буратино.

— Какое кино? — Ворчучело, как всегда, курил махру.

— Ну, которое крутим не в ту сторону.

— А...

— Мы ведь не живем, а всю жизнь только и делаем, что объ-яс-ня-ем-ся! —

Буратино волновался от присутствия новых неожиданных мыслей.

— Молодец! — сказал Ворчучело хмуро. — Давно не пил?

— Два дня, а что?

— Выпей.

— Зачем? Я не хочу.

— Выпей, а то поумнеешь больше нужного.

— И что в этом плохого? Плаксунчик ведь поумнел! — Буратино даже сощурился в предчувствии смертельной раны для самолюбия.

— Плаксунчик молодой, он выдержит, а тебе поздно. У тебя, Буратино, деревянная твоя башка, предохранители в мозгах не потянут всё знать и всё видеть. Перегоришь от страха или от бессилия.

— Я учиться хочу! — крикнул Буратино.

— Раньше надо было учиться, а не по балаганам шляться, — беззлобно прошамкал Ворчучело.

— Я не шлялся, я долг выполнял! — громче прежнего крикнул в запальчивости Буратино.

— Вот и остался неучем! — Ворчучело аж крякнул от удовольствия.

Каждый прибор приспособлен для своих целей, каждый человек приспособлен для своей судьбы. Речь о специализации и здравом смысле. Если спецприбор засунуть не туда, куда надо, он или сгорит, или ничего не покажет. А если индивидуальную, очень обособленную и специализированную судьбу засунуть в рамки, скажем, какой-нибудь идеи или бросить в русло принудительного счастья, то маленькая судьба, скорее всего, загнется. Сломается стрелочка-душа, перегорит индикатор-сердце. Оживить убитую судьбу — это, пожалуй, больше, чем совершить чудо.

С Золушкой происходили странные превращения. Она начала ходить по коридору железнодорожного барака напевая и пританцовывая. Седина на голове почти прошла, спина распрямилась. Золушка полюбила по-настоящему второй раз в жизни, только уже не принца, которого расстреляли много лет назад, и даже не Плаксунчика, ради которого готова была на всё, а полюбила нечто гораздо большее — саму жизнь! Ах! Кто может сказать без лукавства, что он любит именно жизнь, а не ее лакомые кусочки?! Кто?

Буратино дали денежный штраф за учинение дебоша. Причем штраф он должен был заплатить не Пьеро, которого пырнул чуть было не до смерти ножом, а третьей стороне — государству. Такое решение принял народный судья, Иван Иваныч, осуществляющий цивилизованную справедливость. На суде выступала, попросив слова, по своей инициативе пришедшая в зал заседаний, детдомовская радетьельница — Василиса Ивановна. Она требовала защитить общественность и детей от подонков.

Кроме штрафа Буратино дали небольшой тюремный срок. По старости — условно.

— Легко отделался! — сказал при встрече каждый, как бы поздравляя: и Ворчучело, и Дюймовочка, и оба гомика, и даже сердобольная Золушка.

Только Говноед сказал иначе. Он сказал так:

— Живи, гнида.

Плаксунчик не сказал ничего, потому что был далеко — на съемках фильма о необычайных способностях юных вундеркиндов.

В бараке у жильцов имелись в наличии два телевизора, но у Ворчучело он не работал, и в его электрических внутренностях с удобством разместилось несметное множество тараканов, а ходить смотреть цветной телевизор в гости к Карлсону было не принято, все-таки от толстяка и его «денщика» Пьеро веяло чем-то отталкивающим, обособленным, ну, куркульством, что ли. Не зря же они отдельный вход соорудили. И зажиточные оба. В общем, как-то неудобно напрашиваться. А дело было исключительное — Плаксунчика казали по телеку: он сидел на сцене в каком-то зале, ему задавали разные умные вопросы и обращались на вы.

Карлсон сам постучал к Золушке в дверь и сообщил:

— Вашего мальчика передают, идите, посмотрите.

Но скромная Золушка в помещение не пошла, а встала лишь под окном, напряженно вслушиваясь в звуки передачи. Карлсон настаивать на приглашении не стал, а открыл форточку и сделал звук погромче. Вопросы просто сыпались, Плаксунчик без запинки чеканил.

— Что такое человек? — спрашивал кто-то ехидно.

— Понятие «человек» бесконечно, оно возникает на стыке двух явлений: неизреченного вопроса природы и неизреченного ее ответа. Так называемая реальность есть направление — изречение в ту или иную сторону.

— Что такое, по-вашему, Бог?

— Динамический процесс стыковки неизреченного вопроса с неизреченным ответом.

— Вы способны любить, вас это интересует?

— Любить? — переспросил Плаксунчик и надолго замолчал.

Ответа Золушка не дождалась. Щелкнул выключатель, захлопнулась форточка. Со словами: «Бред идиота!» — Карлсон выключил телевизор и завел вертушку с Чайковским. Свет в окне погас.

* * *

Золушка почувствовала, что превращается не по своей воле, словно боль-

шая и теплая сила невидимого света взяла ее уставшую жизнь в свои ладони, как птенца, и —дохнула. Эта было другое превращение! Не такое, какие бывали иногда перед зеркалом — короткие, тайные, насыщенные горечью воспоминаний из потерянного прошлого. Это было настоящее превращение! Она испугалась. Она обрадовалась. Она закрылась в своей комнатухе и достала обе хрустальные туфельки. Она вся дрожала и трепетала, надевая их, беспричинно плача и гордо поднимая голову навстречу возвращающейся сказке. Всю комнату залил ослепительный свет.

Напротив золушкиного окна с рябины-раскоряки вел наблюдение Говноед. Нижняя губа его была оттопырена, на лице обозначилась скептически-брезгливая гримаса. Сквозь полупрозрачные тюлевые шторы было хорошо видно всё происходящее в комнате. Говноед неотрывно смотрел на хрустальные туфельки, заранее прикидывая, сколько же за них можно выручить денег. На само, собственно, превращение Говноед никак не реагировал: ему было наплевать на то, что нельзя продать. Тем не менее, он скользнул машинально взглядом снизу вверх и тут же присвистнул: в хрустальных туфельках стояла посреди сияющей комнаты их законная обладательница — русоволосая девушка лет семнадцати-восемнадцати, в белом шикарном платье, ревущая и смеющаяся сразу; и еще: к ней тянуло какой-то неведомой, просто невероятной магнетической силой. Говноед не знал, что эта сила называется обаяние. Но знал или не знал — не важно: гравитация обаяния делала свое дело — Говноед поддел раму отверткой и полез через окно внутрь.

— Чего ты хочешь? — девушка приветливо улыбнулась, смахивая последние слезинки.

— Раздевайся, — сообщил он и, выплюнув горящий окурок на пол, первым стал расстегивать брюки.

— Я принадлежу не тебе, — спокойно, продолжая улыбаться, сказала девушка. Золушка, то есть.

— Заткнись. Я не собираюсь тебя присваивать, я буду тобой пользоваться.

— А если я не согласна?

— Я тебя не спрашиваю. Я тебе сообщаю.

— А если все-таки нет?

— Пожалеешь... — он ударил ее в живот, Золушка начала оседать.

— Будешь орать — замочу, а заложишь — Плаксунчика твоего кончу. Ну!

Сама разденешься или помочь?

— Сама... Можно, я за занавесочку отойду?

Говноед стоял, обнаженный по пояс снизу, брюки и кроссовки валялись, трусов он не носил, сверху на Говноезде был натянут маленький, не по размеру, ватник с буквами на рукаве РПС — райпотребсоюз. Говноед снисходительно ухмыльнулся, наслаждаясь послушностью жертвы, давая ей возможность погружаться в безнадежность ситуации не махом, а медленно, со страхом и осознанием. Он поднял с пола дымящийся окурок, сунул обратно в рот.

— Давай! Я докурю пока.

Свет в комнате померк. Изливала лишь свой тусклый электрический желток экономная двадцатипятиваттная лампочка, упрятанная в вылинявший абажурчик с кистями. Кровать Золушки была отделена от пространства комна-

тушки ситцевой занавеской с васильками.

— Ну! — Говноед докурил и пошел за занавеску. Давным-давно в стену над золушкиной кроватью кто-то из прежних хозяев комнаты вбил железнодорожный костыль, каким прибивают рельсы к шпалам. Здесь, на этом прочном крюке, когда-то крепилась люлька-зыбка для младенца. Теперь на этом крюке висела Золушка. Она сняла с себя прочный белый пояс от волшебного платья и затянула на девичьем горле петлю окончательного отчаянья. Говноед не торопясь обнял стройное тело, приподнял, вынул из смертельного аркана, уложил на постель и так же, не торопясь, сделал всё, в чем нуждался. Потом он оделся и посообразал: если мертвое тело со следами на горле оставить так, как есть, в постели, то милиция что-нибудь заподозрит. Значит, надо повесить девку обратно, как была. Говноед поднапрягся и стал засовывать болтающуюся голову Золушки в петлю. Золушка застонала. Говноед отпустил ее, опять соображая что-то.

— Ведьма проклятая! — выругался он. Потом поднял хрустальные туфельки, засунул в мягкие карманы ватника, осторожно вылез через окно обратно и притворил раму.

Гремела божественная музыка. Страданием вытекали в ночь глаза святого с иконы. В комнате по соседству пьяный Буратино доставал из недотрожного сундучка, рассыпая, ворованные пистолетные патроны, фамильную свою реликвию, самое дорогое сокровище, воспоминание о доме отца — коврик с нарисованным очагом. Буратино смотрел на очаг, пил брагу в одиночку и вспоминал знаменитое детство. Он то гордо выпрямлялся над дорогом для сердца ковриком, то, всхлипывая, утыкался в него сухим старческим носом. Потом Буратино вырвало на реликвию. Потом он свалился с табуретки и уснул на полу. Характер проказника сохранился, видать, у него до самой старости.

* * *

Участковый устал уже спрашивать.

— Где ты взял хрусталь?

— Глухой что ли? Сказал ведь: в туалете нашел!

— Где ты взял хрусталь?

— Вот заладил!

— Ладно, разберемся на месте, пошли.

Жильцы барака сразу опознали туфельки.

— Украл! — Буратино не сдержался и схватил Говноеда за грудки.

— Гражданин Буратино! — напомнил участковый. — У вас срок, между прочим. Не очень-то!

Буратино отступился. Стали стучать в дверь к Золушке.

— Старая стала, не слышит, — вякнула Дюймовочка язвительно. — И не помнит уже ничего, что делает — не знает. Маразм.

— У тебя у самой маразм, — цикнул Ворчучело. — Золушка, эй, Золушка, открой-ка нам, дело есть.

Дверь открылась. На пороге стояла страшная, дряхлая старуха с потухшими глазами, впавшим морщинистым ртом, горбатая карга, мучимая болезнью

Паркинсона, шея ее бы замотана шалью.

— Чего вам? — дребезжащим, безразличным голосом спросила карга.

— Совсем сдала, подружка... — покачал головой Ворчучело. — Совсем сдала, видать, смерть зовет...

— Ваши? — громко и строго спросил участковый, предъявив хрустальные туфельки?

— Её, её! — загалдели все.

— Ваши? — еще громче и еще строже спросил участковый. Золушка нехотя кивнула. — Получите. Распишитесь вот здесь.

Вцепившись крючковатыми пальцами в изящный хрусталь старуха прошествовала через весь коридор, вышла на улицу, и, дойдя до туалета, бросила обе туфельки вниз, в отверстие. Послышался короткий всхлюп.

— Ну, чо я говорил? — взъерепенился Говноед.

— Ладно. Свободен, — участковый повернулся на каблуках и зашагал прочь в поисках более серьезных правонарушений и беспорядков.

* * *

«Мы рождены, чтоб сказку сделать былью!» — пело радио на кухне.

* * *

Приезжал, вызванный телеграммой, Плаксунчик. Теперь он жил в другом городе, в интернате для особо одаренных детей и был очень доволен своей судьбой и известностью. Плаксунчиком многие гордились, а он гордился тем, что им гордятся. Он приехал посмотреть, как земляки лопнут от гордости за земляка.

У Карлсона наступило третье состояние жизни. Если когда-то он всю летал на пропеллере обалдуйства и юности, потом бегал, как заводной, устраиваясь в жизни поудобнее, то теперь Карлсон слег, после короткой, незначительной, казалось бы, беседы с Плаксунчиком. В сердце толстячка воткнулась невыносимо острая боль, и приехавшая «скорая» зафиксировала инфаркт. О чем говорили два умника, так и осталось навсегда тайной. С носилок Карлсон прохрипел на прощание: «Ни хе-хе себе!?!»

Говноед самовольно занял жилплощадь Карлсона. Пьеро тут же приспособился, рассыпался мелким бисером и угождал в чем мог. Вдвоем они уговорили уличкома Иванушкина: не принимать мер к принудительному выселению. Чайковский заглох. Зато громче пятидесятиваттных колонок кричал теперь сам Пьеро: Говноеду доставляло удовольствие бить несчастного соседа и слышать, как кричит человек.

Буратино и Дюймовочка неожиданно для всех поженились. Торжество справили скромно, под брагу. Ворчучело пел дребезжащим баритоном народные песни. Через неделю Дюймовочка поставила ультиматум: «Усынови Ванечку, или — развод!?!»

— Какого Ванечку? — не понял Буратино. — Говноеда?!

В общем, развелись, поделили имущество. После раздела у Буратино не ос-

талось ничего, кроме фамильного коврика, двадцатилитровой бутылки да собственного длинного носа.

— Говорили тебе: пей без антрактов! — пенял Ворчучело другу. — Пьяного она побоялась бы, а трезвого мужика облапошить и дурак сможет.

* * *

Пело без умолку радио. Грохотали за окнами железнодорожные составы, вздрагивала земля.

— Устала я, — прошептала Золушка, глядя на молчаливую икону. И закрыла глаза. Теперь уже — навсегда и насовсем.

Плаксунчик получил по завещанию небольшой денежный вклад и икону. Деньги он оставил себе, а икону передал безвозмездно в столичный музей. И об этом опять говорили по телевизору, и даже многие Иван Иванычи выразили удовлетворение и гордость по поводу бескорыстного поступка. В солидном издательстве юноше предложили написать книгу воспоминаний: «Золушка как ярчайший представитель народной естественности». Плаксунчик согласился и ушел в работу с головой. Гонорар за издание он заранее пообещал отдать на нужды того детского дома, который его воспитал и вывел в люди.

* * *

Крепкое административное здание конторы райпотребсоюза принимало в распахнутые двери вестибюля всех желающих, на второй этаж могли пройти лишь свои и те, кого пропустил вахтер; в приемную Ивана Иваныча его новая секретарша, вчерашняя школьница, Белоснежка, допускала только самых избранных. Непосредственно в кабинет к шефу входили только по его личному селекторному приказу. Как все Иван Иванычи, райпотребсоюзский шеф любил на службе рабочую тишину и психологическую интимность. Поэтому здесь, кроме деловых удобств, имелись и удобства бытовые. Например, потайная спальня для послеобеденного отдыха, ванная, сверкающая белизной, и просторный туалет, облицованный привозным красным мрамором.

Работал шеф, как всегда, допоздна.

Свет погас. Иван Иваныч послал проклятье по адресу растяп-электриков, которых тут же решил лишить квартальной премии, вздохнул натруженно и грузно сел, расслабившись.

Вдруг Иван Иваныч интуитивно, как зверь, забеспокоился. Рядом кто-то присутствовал: «Уборщица?» — мелькнула простая мысль.

— Кто здесь? — строго спросил Иван Иваныч.

Из темного угла, развязно ухмыляясь, вышел детина.

— Здравствуй, папа, — Говноед, наконец, настиг своего родителя.

Шефа затрясло. Его сдуло с кресла, но спастись бегством Говноед не позволил. Говноед подошел к папаше вплотную идохнул в лицо:

— Я всё могу. Веришь?

Иван Иваныч заскулил. У него была благополучная жизнь, жена, дом, машина, две дачи, две дочери и охотничий домик в деревне. Своим появлением внебрачный сынок мог спутать многие карты — навонять, как выразились бы

некультурные грузчики со складов.

— Чего ты хочешь?.. — шеф осекся, не зная детину по имени.

— Ваня, — подсказал Говноед, — Ваня. Иван Иванович.

Пробил час, кокон превратился в дракона.

Иван Иванович-старший сел за телефон. Белоснежке было велено никого даже близко к двери не подпускать. Заработали невидимые нити телефонных связей. Один Иван Иванович звонил другому, тот, другой советовал, третий выписывал что-то, четвертый и пятый сочинили приказ, следующий утверждал — огромная тайная машина Иванов-дураков действовала безотказно. К вечеру всё было готово. Говноед получил членский билет Иван Ивановича за № 46736942.

— Ванечка! Нас много! Нас будет еще больше! — со слезами умиления на глазах вручал членский билет Ивана-дурака Иван Иванович-старший новоиспеченному Иван Ивановичу-младшему.

Иван Иванович открыл сейф. Они выпили и обнялись.

— Ордер на квартиру в центре города получишь завтра, — сказал Иван Иванович-старший.

— А должность?

— Не беспокойся, ступай себе с миром. Подыщем.

Дюймовочка загуляла с уличкомом. Буратино подружился с участковым милиционером и часто сопровождал его в различных рейдах и мероприятиях. С особой гордостью Буратино надевал красную нарукавную повязку с надписью «Дружинник». В минуты патрулирования Буратино вновь чувствовал себя нужным, деловым и сильным. В комнату Золушки никто не поселился, не прислали никаких квартирантов. Карлсон уже много времени лежал без памяти в реанимации: он не хотел умирать, но и не получалось поставить точку. В ушах у толстячка непрерывно, на полную мощь, звучала музыка божественного Чайковского, он просто заслушался...

Тихо уходило старое поколение сказочных героев, громко заявляло о себе новое. Сказка всё страшнее превращалась в быль.

Пьеро оказался универсалом. Ему дали новый срок за попытку очередного изнасилования. Видит Бог, он совсем не хотел трогать Белоснежку, но в тот вечер, когда Пьеро пошел воровать с базы дыни, чтобы полакомиться самому и угостить уцелевших жителей железнодорожного барака, вот в тот самый вечер вокруг складов зажгли новые прожекторы, и Пьеро сидел в кустах нерешительный. Мимо тех кустов и проходила Белоснежка.

* * *

Приближалась зима. А кто не знает, как неудобно сидеть в щелястом общественном сортире, когда снизу свистит и студит?! Буратино разрезал коврик с изображенным очагом на две равные части и обил низ в обоих отсеках — и в мужском, и в женском. Увидев новшество, Ворчучело забыл, зачем пришел.

— Ни хе-хе себе! — сказал он.

Глубоко, на дне ямы, заполненной отходами не одного поколения жильцов железнодорожного барака, лежали две хрустальные туфельки — хрустальная

мечта для падчериц-замарашек и непреодолимый соблазн для романтических принцев. Где это всё теперь? Было ли? Будет ли? Конечно, с самим хрусталем ничего не случилось, даже в дерьме он остался точно таким, каким подобает быть волшебному хрусталу. Да, дерьмо к нему пристало, утопило, но растворить хрусталь с помощью пакости — это шалишь, брат, слабо. Может, просто время туфелек еще не пришло? Уж лучше так думать, чем никак. Пусть лежат на самом дне, авось, так им надежнее.

— Ни хе-хе себе! — Ворчучело вспомнил, зачем он пришел.

* * *

Председатель Фонда защиты детей-сирот вручал почетную Премию автору нашумевшей книги про Золушку.

— Позвольте вас поблагодарить и от всей души пожелать дальнейших творческих успехов, — сказал Иван Иваныч в микрофон.

— Я приложу все силы, чтобы оправдать доверие! — сказал в микрофон Плаксунчик, с радостью и изумлением узнавший в председателе Фонда друга детства — Говноеда.

Зал поднялся с мест. Аплодировали стоя. Несколько первых рядов занимали новые воспитанники детского дома, рукоплесканием детей руководила постаревшая, но еще очень боевая Василиса Ивановна. Посмотреть на триумф жители коммуналки не пришли. Торжество было платным.

— Билет стоит денег, а это — дорого, — резонно рассудил Буратино.

Вот и всё. А барак стоит там же. Будет охота поискать туфельки — знаете где.

КОНЕЦ
(образца 1989 г.)